

В.Я. Шишков

Странники

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Ш65

Ш65 **Шишков В.Я.**
Странники / В.Я. Шишков – М.: Книга по Требованию, 2023. – 291 с.

ISBN 978-5-458-03369-5

Присущие большому искусству объективное изображение не существующих сторон жизни, глубина художественного познания действительности и интерес к проблеме личности и общества в полной мере нашли отражение в творчестве Вячеслава Шишкова. Настоящее и прошлое Сибири - главная тема его творчества. Его романы, повести и рассказы ("Угрюм-река", "Странники", "Прохиндей", "Шутейные рассказы" и др.) являются достоянием русской культуры. Повесть представлена без сокращений.

ISBN 978-5-458-03369-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка.
«Книга по Требованию», 2023
© В.Я. Шишков, 2023

Вячеслав Шишков
Странники

ЧАСТЬ 1.

ФИЛЬКА И АМЕЛЬКА

«Худая воля заведет в неволю».

1. СУДЬБА РЕШАЕТСЯ ВНЕЗАПНО

В тягостные сроки освободительной борьбы накатило на русскую землю неотвратимое бедствие: голод, а вместе с ним и тиф.

Родители Фильки померли от тифа один за другим на одной неделе. А вскоре убрались его дед и тетка. Четырнадцатилетний Филька обезумел. Забыв кладбищенские страхи, он два дня сидел на могиле отца и матери, плакал, уткнувшись лицом в раскисшую от дождя глину:

— Ну, как же я теперича, а?! Ну, куда же?!

Утешать Фильку некому: у всякого полна охалка горя. Только кудластый, весь в перьях, Шарик искренне сочувствовал Фильке: он торчал возле него на погосте, то повиливал хвостом, стараясь притвориться радостным, довольным жизнью, то со вздохом опускал голову и, твякнув раз-другой, принимался выть. Шарик тоже жилось несладко.

Но случилось так, что повстречался с Филькой слепой прохожий, старик Нефед. Он дал парнишке большой кусок хлеба. Голодный Филька с жадностью сожрал кусок, сказал:

— Деда, дай еще хоть корочку: Шарик у меня вот тут, собака.

— На, на, — проговорил охотно дед. — «Блажен, иже и скоты милует...» — в псалтыри сказано.

Шарик проглотил корку не жевавши. Дед огладил Фильку с головы до ног, будто глазами ощупал, сказал:

— Вот что, парнишка... Теперича я тебя всего вижу. Кожа да кости в тебе и голова шаршавая, нечесаная. Вот пойдем, води меня за батог, сыты будем. Петь можешь?

— Научишь, так почему не петь? Я в согласье идти... Возьмем и Шарика... С ним повадней.

И стали они ходить втроем из села в село, из города в город.

Дед научил Фильку прекрасным песням и стихирам. У Фильки сильный, складный голос: дед же был великий по пенью мастер: он умел в песне пускать слезу, мог и утратить слушателей грозным ревом, а когда надо, голос его лился рекой, широко и плавно.

Филька выучил Шарика обходить толпу с картузом. Полный серьезности, с сознанием долга Шарик неспешно шел по кольцу собравшихся; он крепко держал Филькин картуз за козырь, и люди бросали в картуз пятаки, копейки, огурцы. На спине Шарика укреплен, как седло, картонка с надписью:

«Православные! Жертвуйте двум несчастным человекам и зверю умному на пропитание!»

Впрочем, два человека и животное побирались втроем недолго, потому что так было нужно, потому что у Амелки была мать, а житейским путем Фильки и Амелки надлежало встретиться, совпасть. Амелка был тоже деревенский парень, постарше Фильки четырьмя годами.

* * *

Амелька когда-то проживал в другом селе. Его отец, коммунист, рабочий цементного завода, погиб мучительной смертью в схватке с контрреволюционной бандой. Дома, в великой бедности, осталась мать Амельки. Ни коровы, ни лошади она не имела, земля же была неродимая — пески, кусты, болото. А в наследство от мужа получила баба лишь кожаную потрепанную куртку. Кроме куртки, еще осталась матери на всю жизнь печаль и дума об Амельке.

Озорной, задирчивый Амелька рос без отца хулиганом, никому спуска не давал. Мужики не раз трепали его за уши, драли розгой, собирались выгнать из села и, если не угомонится малый, грозили убить. И ушел бы Амелька на волю, но жаль было бросить старуху мать. Если б спросить Амельку, любит ли он мать свою, Амелька, пожалуй, ответил бы: нет, не любит. Только всякий раз после безрассудного озорства, когда Амельку вновь избивали, вновь били, когда мать в изнеможении и горькой обиде лила над ним слезы, в душе Амельки пробуждалось чувство большой любви к матери, и он клялся тогда, что остепенится, что бросит подлую, непутевую жизнь свою.

Однако неизменно презрительное отношение к нему деревни не давало Амельке силы переломить себя, уничтожить в душе раз появившееся зло. Вот как-то не выдержало впечатлительное сердце: Амелька поджег амбар у кулака и в ту же ночь бежал.

* * *

Красная жизнь Фильки кончилась. Наступала осень. Солнце охладевало. Шумными табунами летали по вечерам скворцы и галки, студеные зори горели на западе, и ранними утрами остывшие поля прятались в густой туман. Все блекло, холодело в природе, и внутренним холодом сжималось сердце парнишки.

— Как же нам, дед, зимой-то! Студено поди?

— Студено, сударик, студено... В прошлом году вьюга в путихватила, едва в сугробе не окочурился... Со святыми упокой — и крышка. Ну да ничего, не бойся.

Пришли они в богатый степной город — и прямо на базар. Площадь ломилась от множества приехавших крестьян; горы арбузов, помидоров, баклажан и всякой овощи веселили глаз, обещали вкусную сытость на всю зиму.

Слепец встал с Филькой в сторонке, безглазо покрестился на колокольный звон, спросил Фильку:

— Девки с молодайками подле нас стоят?

— Стоят.

— Заводи утробный стих.

И резко, дружно хватили в два крепких голоса:

А вы, гой еси ангеля крылатые!

Вы небесный рай нам отверзайте,

А вы праведные души пропускайте,

А вы грешные души задержайте!

Слепец запрокинул лохматую голову к небу, потряс сивой бородой и ударил в землю посохом:

А котора душа тяжко согрешила,

Во утробе младенца погубила,
Ей не будет вовек прощенья —
За дитя своего погубленье,
На втором суду ей не бывати,
Самого Христа в очи не видати...
Ой, горе, горе тебе, девка, молодая баба!!

Голос слепца звучал грозно, угрожающим было сухое, изрытое оспой лицо его; Филька искусно вполетал в стихиру свой ясный, звонкий голос.

Народ тесно окружил певцов. Шарик, с картузом в зубах, собирал подаянье. Какой-то мордастый парень-оборванец дернул Шарика за хвост. Пес, бросив картуз на землю, обложил озорника крепкой собачьей бранью. Народ захохотал.

Не смеялась только опечаленная девушка. Она хмуро стояла возле слепца, вздыхая. Не про нее ль сложен этот церковный стих? Ведь это она, Настя Буракова, «во утробе младенца погубила», а погубитель — злодей Васька совхозский, а погубительница — старушонка тленная, бабка Мавра — утробу ее веретенцем окаянным опоганила, крови женские в три ручья пустила, сняла маков цвет с Настина румяного лица. Будь проклята ты, бабка Мавра, и ты, Васька-обольститель, трижды проклят будь!

Бледная, тихая Настя дрожащей рукой срывает с мочалки бублик, сует его в руку слепца и шепчет старику:

— Дедушка хороший, а ну еще!

Дед Нефед кладет бублик в кошель, крестится, говорит Фильке.

— Заводи печальную, голос в дрожь пускай. Филька оглаживает Шарика, злобно косится в сторону собачьего обидчика и сердитым голосом заводит:

Что есть у нас три печали великие,
Как-то нам те печали миновать будет?

Тут уверенно и крепко, устрашая толпу, подхватывает дед Нефед:

Первая печаль — как умереть будет?

А вторая печаль: не вем, когда умру,

А третья печаль: не вем, где на том свете обрящуся:

Ой нет у меня добрых дел и покаяния,

Нет чистоты телесные и душевные...

Собачий обидчик был не кто иной, как Амелька. Он показал Фильке язык и фигу. Когда же повел парнишка слепца в живопырку чайку глотнуть, Амелька поравнялся с Филькой и шепнул ему:

— Как усадишь деда брюхо кипятком парить, выйди на улку: любопытное скажу.

— А подь ты к ляду! — огрызнулся Филька. — Ты Шарика избидел.

Тогда Амелька сунул Фильке только что украденную на базаре плитку шоколада:

— На. Выходи смотри.

Филька выпил два стакана чаю; его взяло любопытство, он сказал слепцу:

— Пей, деда... Я сейчас.

Вместе с Амелькой подбежали к Фильке еще два подростка.

— Будемте знакомы, — сказал Амелька. — Вот этот — Пашка Верблюд, этот — Степка Стукни-в-лоб. А тебя как?

— Филька.

— Ну, ладно. Будешь Филька Поводырь. Пойдем до хазы.

— Куда это? — попятился Филька.

— Куда, куда?! — передразнил Амелька. — Звестно куда: в нашу камунию. У нас, брат, о!.. У нас жить весело...

Амелька был широкоплечий, но худой, в драном, лоснящемся грязным салом архалуке. Спина одежины от самого ворота вся вырвана, болтались лишь длинные полы и заскоруждые рукава в заплатках. Босые ноги покрыты густым слоем давнишней грязи, до кожи не докопаться. На голове — позеленевшая от времени монашеская скуфейка (за это оборванцы прозвали его: Амелька Схимник). Лицо парня какое-то отечное, желто-бурое, рот широкий, губастый и маленькие, исподлобья бегающие глазки.

Пашка Верблюд горбат и мал.

Его отрпье, казалось, состояло из одних прорех, кое-где схваченных заплатками; встопорщенные, неимоверно грязные волосы от вшей шевелились на висках; лицо стариковское, треугольничком, и злые, наглые глаза.

Пашка Верблюд не понравился Фильке. Зато показался приятным ему третий оборванец — Степка Стукни-в-лоб. Он был похож на крепкую краснощекую девчонку, и лицо его не так грязно. Одет он довольно потешно: гологрудый, без рубахи, отрпанные штанишки до колен, руки засунуты в бабью муфту, из которой торчала пакля, на голове — желтый старушечий чепец.

— Ты не смотри, что он по-бабьи обрядился, — сказал Амелька. — Он, стервец, свою мамашу поленом по лбу вдарил, оттого зовется: Степка Стукни-в-лоб,

— Врешь, — обидчиво проговорил Степка и повернулся к компании спиной.

Филька взглянул на грязную с выпяченными лопатками спину оборванца и захохотал: на спине красовалась татуировка — срамное слово.

— Ну, хряем скорей, айда! — И Амелька потянул Фильку за рукав,

— А как же дедка? — спросил тот.

— Кто это? Слеподыр-то твой? Плевать! — крикнул Амелька, поднял с пыльной земли окурок и стал раскуривать. — Ты в кого живешь — в себя или в старого хрена? Ему подыхать пора.

— Мне дедку жаль: он хороший...

— Дурак, — сказал Амелька. — До каких же пор ты будешь с ним валандаться? Ведь скоро зима ляжет. А мы зимой знаешь куда? Мы зимой на курорт, в Крым. Дурак паршивый! А твой дедка поскулит-поскулит, да найдет такого же вислоухого, как ты... Дураков много...

Филька оглянулся на харчевку. Он и сквозь стены видел деда: будто беспомощно сидит дед за столом, насторожил ухо к двери, ждет — вот-вот услышит Филькины шаги, попросит еще чайку. «Дедушка Нефед, кормилец», — подумал Филька; сердцу его стало больно и досадно.

— Ну, хряй до хазы, идем! — прервал его думы неотвязный Амелька.

— Да что ж, навося к вам уходить?

— Знамо, навося. Да ежели с нами недельку проживешь, тебя палкой не выгонишь от нас: живем мы роскошно.

— А как же дед? — снова вздохнул, раздумчиво посмотрев на мальчишек, Филька. — Нет, не пойду.

— Вот шляпа!.. Ну и шляпа ты, — насмешливо протянул Амелька и на особом,

блатном, языке стал переговариваться с товарищами, подмигивая на проходившую возле них даму. У нее полны руки разных покупок в тюрючках и свертках.

— Шей! — скомандовал Амелька. — Бери на шарап!

Пашка Верблюд подлетел и резко толкнул даму сзади в локоть. Тюрючки упали и в момент были подхвачены тремя беспризорниками. У дамы от толчка надвинулась на глаза шляпка; она несколько мгновений стояла как бы в столбняке, потом взвизгнула и завопила.

— Филька, плинтуй, беги! Мильтоны! Менты! — враз крикнули ему все трое.

Филька бросился было к чайной, но оттуда бежали к хулиганам человек пять мужиков и милиционер.

— Филька, схватють! — волок его за рукав Амелька. — Плинтуй за мной, беги!

Тогда Филька, мигом набрав сил, помчался вместе с Шариком за оборванцем. И судьба его так неожиданно сама собой решилась.

2. ТРУЩОБА, МАЙСКИЙ ЦВЕТОК ЦВЕТЕТ

Три оборванца привели Фильку на песчаный берег большой реки. В густом ивняке лежала опрокинутая вверх дном огромная, сорокасаженной длины, баржа. Один борт баржи немного приподнят и подперт городками: видимо, ее собирались зимой ремонтировать. Здесь ютилось около сотни народу: беспризорники, нищие, воры, бродяги, — баржа была вроде ночлежки.

В середине под баржей, прямо на песке, слеплена глинобитная печь, похожая на собачью конуру, труба выходила в пробоину на дне баржи.

— Не бойся, — сказал Амелька, вводя в притон нового товарища, — вот наша хаза, я здесь вожак, — и звонко закричал: — Эй, народы!.. вот оголец новенький... Филька Поводырь. Кто обидит — в харю!.. Да он и сам с усам... Карась!.. Зарегистрируй. Номерок выдай... Ну!..

Филька жалобно улыбался.

— Пойдем. — И Амелька повел Фильку в темный угол. — А это вот стенгазета, — указал он на приклеенный к щиту мелко исписанный, с картинками, большой лист бумаги. — Здесь описи наших делов и прохватываем порядки. Есть стихи... Впрочем, она не наша: она в кожевенном заводе украдена. Вообще мы живем роскошно. Вот! Будешь тут в одном цеху жить со мной и вот с этими.

Филька оглянулся. За его спиной гоготали Пашка Верблюд и Степка Стукни-в-лоб.

Возле них сгруппировалась рваная, вонючая, грязная детвора в лохмотьях: мальчишки с девчонками и подростки-парни. Филька все еще продолжал улыаться. Он улыбался из вежливости и опасения: боялся, как бы не огрели его по затылку.

Какой-то большеголовый плющеносик указал на Фильку:

— Ишь черт... В новых сапогах. Тоже, хлюст...

— Карась! — позвал Амелька. — Где Карась?! Поднялись свистки, крики:

— Карась, Карась!.. К вожаку!

Прибежал одноглазый, бесштаный мальчонка. Он — в женской рубаше, новой, но замазанной всякой дрянью. По талии — веревка, за веревкой — деревянный кинжал, на голове — меховая, белой шлёмки, рваная папаха.

— Номер огольцу вручил? — в шутку сказал Амелька.

— Ну да!

— Зарегистрируй сапоги, рубаху, картуз. Впрочем, картуз не надо: его собака изжевала. А где Шарик?

Пес в это время жрал в котелке чье-то вкусное хлебово и был вполне доволен своим новым положением,

— Снимай, — приказал Карась Фильке. Филька посмотрел вопросительно на Амелюку.

— Не бойся, — успокоил Амелюка, — сапоги не пропадут. У нас в чихаузе, как в ломбарде, крепко. Нельзя ж в таких сапогах, в такой новой рубахе на базар по фене ходить. Пока босиком, а похолоднее будет — опорки получишь. Рожу никогда не мой, башку не чеши. Это буржуи выдумали промываться. Вода человеку для питья дана.

Филька, разутый и голый, сидел в углу на сене. Карась бросил ему мерзлое отрепье, а сапоги с рубахой забрал. Филька стал одеваться. Это уже не нравилось ему — попахивало насильем. Руки его дрожали, свербило в носу, хотелось кричать от досады и плакать.

Амелюка покровительственно похлопал его по плечу, сказал:

— Вот видишь, какой фартовый стал. Одежина теплая. Прямо барин довоенного образца. Вообще у нас роскошно, всероссийский масштаб. Заполнял анкет? Карась, тащи!

Карась принес огрызок карандаша и печатный, захватанный грязными руками анкетный лист какого-то учреждения.

— Заполняй! — приказал Амелюка новичку.

Амелюка с мальчишками подшучивали над простоватым Филькой, разыгрывали комедию, но Филька относился ко всему совершенно серьезно: что ж, под баржей, в хазах, свой устав, — и тщательно отвечал на анкетные вопросы. Дважды ломался карандаш. Филька то и дело спрашивал Амелюку.

— А тут как писать?

Амелюка давал советы.

Над вопросом «Ваша основная специальность» Филька призадумался и хотел написать: «Бывший поводырь слепого гражданина Нефедя», но Амелюка подсказал:

— Пиши: «Вор».

— Я воровством не занимаюсь, — с волнующей дрожью ответил Филька.

— Тогда пиши: «Будущий вор», — подал совет Амелюка, улыбаясь на Фильку уголками глаз.

Отчетливо раздались семь неторопливых ударов в железный лист.

— Семь часов... Сейчас будем чай пить с балой.

Филька рассмотрел: над печкой висели на веревке дешевенькие часы-будильник, а время отбивала в железный лист косматая девчонка, похожая на цыганку.

— Это — Надька Хлебопек, — сказал Амелюка. — Недавно с хлебной баржи мы пять кулей муки сбондили. Баржа на якоре стояла. Рабочие загуляли, пьяные, ну, мы на двух больших лодках ночью... Теперь свой хлеб. По-нашему хлеб значит «бала». Дело было трудное. Зато — кто работает, тот и ест.

Меж тем Пашка Верблюдов притащил большой жестяной чайник с кипятком. Амелюка развернул только что украденные у дамы тюрючки. В одном — мятные пряники, в другом — чернослив, в третьем — чай и сахар, в четвертом — мака-

роны, в пятом — конь, кукла и резиновая соска со стеклянной бутылочкой.

— Ага, дело, — сказал Амелька и радостно улыбнулся. — Это Майскому Цветку.

— А кто такой Майский Цветок? — спросил Филька.

— А вот увидишь. Карась, дели добычу!

Под баржей стояли неимоверный гвалт и перебранка. Все говорили повышенными, крикливыми голосами, все отборно ругались, даже малыши. Было похоже, что пестрое стадо грачей, журавлей, гусей и чаек горланит на отлете. В полумраке сновали взад-вперед серые тени. Возле приподнятого борта баржи горел на воле костер, ветер загонял дым под баржу. Кой-где, в отдельных группах, разместившихся на чаепитие, поблескивали светлячками огарки: по продольной оси баржи была натянута в вышине проволока, на ней укреплены зажженные свечи — штук пять-шесть. Фильку это забавляло. Он чавкал хлеб, с наслаждением запивая чаем.

— Свечи наши шпана ворует или покупает по очереди. Следит дежурный. А курево, шамовка, то есть жратва, и водка у нас общие. Обутки тоже общие. Да вот поживешь — узнаешь, — посвящал Амелька Фильку в неписанные законы уличной шпаны.

Степка Стукни-в-лоб глотал жижу из грязного черепка, многим чашками служили консервные коробки.

В дальнем углу горел небольшой грудок-теплина: там было весело: играли на паршивой сиплой гармошке, подтягивали на берестяном пастушеском рожке, плясали. И плясали залихватски, с гиканьем, в присядку. Филька видел, как отрепья плясунов развевались в наполненном гвалтом воздухе. Его потянуло туда.

— Соси еще, бурдомаги много, — сказал Пашка Верблюд. — Локай вдосыт.

— Может, щиколаду хочешь али кофею?

— Хочу, — заулыбался Филька.

— Ну, ежели хочешь, дак у нас ни кофею, ни щиколаду нету... А вот что есть. — И Пашка плеснул в самый нос Фильки опивками чая.

Филька отерся рукавом своего отрепья и умоляюще посмотрел на Амельку, как бы ища защиты.

— Пойдем к Майскому Цветку, — пригласил он Фильку, а на Пашку Верблюда полушутливо закричал: — Ежели еще дозволишь вне программы, я те паюсной икрой весь зад вымажу! Да, да. И лизать заставлю... Филька, айда! Топай за мной.

Пробирались между кучками оборванцев. В трех кучках резались в грязнейшие, обмызганные карты. За печкой внутри баржи был натянута в виде палатки большой брезент, украденный с хлебного штабеля. Амелька с Филькой вошли в палатку.

— Здравствуй, Майский Цветок, — проговорил Амелька.

— Здравствуй.

При свете стоявшего на ящике застекленного фонарика Филька разглядел: дощатые нары, на нарах — прикрытая ветошью солома, на соломе — маленькая женщина; она кормила грудью ребенка.

— Вот тебе, Майский Цветок, сиська резиновая для парнишки, вот сливы, вот пряники. А это вот конь ему.

— Спасибо, — ответила женщина. — Спасибо. Вон, на ящике, видишь; мне много наташили всего. Вон вино красное. Да я не пью. Пейте.

Амелька спросил женщину:

— А где твоя шуба? — Покажи новенькому свою лисью шубу.

— А нешто не видишь? Вон висит. Амелька, конечно, видел. Он снял шубу и подал ее Фильке.

— Подивись. Краденая, конечно. По-нашему — темная.

Филька пощупал потертую одежину, сказал:

— Бархат, надо быть. Вот так шуба! Амелька самодовольно засопел, повесил шубу и с хвастливостью добавил:

— У нас все роскошно. Не иначе.

Филькины глаза привыкли к полумраку. Он внимательно рассмотрел женщину. Она лежала в синеньком ситцевом платье, в лакированных, больших, не по ноге, башмаках и с браслеткой на худой, как палочка, руке. Она показалась Фильке подростком, с желтым худощавым лицом, — правда, приятным и ласковым. Хороши задумчивые темные глаза ее: в них была и непонятная скорбь, и что-то детское, обиженное, такое знакомое Фильке. Она глядела новичку в лицо, пыталась приветствовать его улыбкой и не умела этого сделать.

— Который же год тебе? — несмело спросил он. Она молчала. За нее ответил Амелька:

— Ей скоро четырнадцать. А вот могла все-таки раздвоиться, дитю родить. Три недели тому назад.

— А где же муж-то твой?

Девчонка язвительно ухмыльнулась, закинула за голову руки и, как-то жеманно изогнувшись вся, отвернулась к стене.

— Надо полагать, мужьев у нее достаточно. Ежели она пожелает, то можешь и ты. Очень просто. Твоей марухой будет.

Филька сплюнул. Девчонка вдруг захохотала. Хохот ее был особенный, взалхлеб, визгливый и дикий. Филька заметил, как плечи ее заходили, судорогой свело выгну-тую спину, ноги задергались.

— Не плачь, Майский Цветок, не плачь, — ласково, сердечно сказал Амелька и погладил ей спину.

— Я не плачу! — И девочка повернулась к нему лицом: — Я смеюсь.

У Фильки задрожал подбородок. Он видел, что по влажным щекам Майского Цветка катятся слезы.

— Зачем же ты, коли так, убежала из дому-то?! — тоскливым, отчаянным голосом проговорил он.

— Тебя, дурака, не спросила, — ответила девчонка, прижимая к своей груди, как куклу, спящего сына.

— Вот через это, что мы не знаем, кто парнишкин отец, мы все подружку любим и парнишку любим. Ухаживаем за ней вот как! Она у нас как в санатории имени Семашки... А звать ее Машка, Майский же Цветок — прозвище, в честь нового быта.

Амелька сел на пол, отбил камнем у бутылки горлышко, отхлебнул вина и закурил трубку.

— Майский Цветок просила, чтоб, значит, аборт; ну, мы отсоветовали ей, не допустили. Да. И очень распрекрасно сделали. Теперича у нас какая-то заправдышняя забота есть, чтобы, значит, матери с сыном было хорошо.

Сдерживая в себе горестную дрожь, Филька сказал, как взрослый: